

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ



ЛЕШИЙ

РАССКАЗ

— Дауншифтинг. Мой случай — это чистый дауншифтинг, — сказал давний приятель Андрея, смакуя дорогое французское вино. Красное. Сухое.

Приятеля звали Лёха. На нем был болотного колера заношенный свитер, связанный, казалось, сугубо по случаю: неброский пёстренький узор, мнилось, был сплетён из пожухлой, бледно-зелёной и грязно-зелёной травы. Скулы Лёхи удивительным образом загнали глаза цвета хаки под лоб, и оттого казалось, что на слегка заросшей лысой голове не хватает то ли рогов, то ли копыт, то ли хвоста какого — чего-то дикого, лесного, неприлично натурального. Когда Лёха улыбался (рот живо-лукаво растягивался, будто в него вставляли ивовый прут), глаза пропадали, и казалось, что на том конце стола маячит ловко вырезанная из дерева фигура забавного азиата с помесью камышового кота.

Описываю это не потому, что получаю удовольствие от складно придуманного образа, а ради того, чтобы передать степень своего удивления: мне не пришлось ничего выдумывать, да я бы и не состыковал так все детали, травинку к травинке, волосок к волоску, крапинку к крапинке, ибо ничто так не нарушает законы правдоподобия, как голая правда. Но что поделалось: передо мной восседало чудо природы и с лесной непосредственностью налегало на деликатесы.

Далее цельный, натуральный образ глыбы-человека, отвергшего город в расцвете его цивилизационных возможностей, только усугублялся.

АНДРЕЕВ Анатолий Николаевич родился в 1958 году в Североуральске Свердловской области. Окончил филологический факультет Белорусского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Беларуси. Автор многих научных работ, сборников прозы, пьес. Лауреат российской литературной премии имени А. Чехова. Живёт в Минске.

Жил Лёха на Витебщине, на самом краю отечества, где рукой подать было до границы с Латвией, на хуторе, близ озера, но не на берегу, как это принято у туристов, Боже упаси. Если коротко — в краю лесов и озёр.

“Врач, хирург-травматолог. Хотя хирургов-травматологов не бывает, есть просто хирурги”. Он произнёс это с едва уловимым желанием произвести впечатление. Одно дело, дескать, если в лесу живет отшельник, которому нечего терять, который ничего другого и не видел, и совсем иное — тот, кто обрёл эту новую жизнь, кто принял её как новый уровень, как далеко не всем доступную возможность. В первом случае перед вами аутсайдер, господа, во втором — дауншифтер. Разница такая же, как между низом и верхом, если кто не понял.

Лёха явно интриговал, пытался вызвать к себе мой *писательский* интерес. Жил-был, как говорится, обитал себе в центре города Минска. Работал, как все, долго, упорно и бесперспективно, словно слепо запрограммированный природой муравей в огромном муравейнике. Потом, когда город вконец утомил своей суетой, бессмысленностью существования, снизошло прозрение, как роса на траву, и он нашёл себя в том, чтобы раствориться в природе.

Быть муравьём — это одно, а раствориться в природе — это, почему-то, совсем другое.

— Почему, Лёха? — спросил я.

Мы выпили и, надо полагать, опуская условности, которыми так изобилует жизнь человека, сразу перешли на *ты*, от чего, по моим наблюдениям, удовольствие получал, скорее, Лёха, нежели я. Он явно стремился к тому, чтобы мы говорили не только как люди одного, само собой, потерянного поколения (при этом, как водится, словно пожившего), но и как *избранные-нашедшие-себя*, объединённые далеко не всем доступным уровнем мышления (пусть и придерживающиеся разного образа мыслей: это также подчёркивало нашу индивидуальность).

— В лесу думать никто не мешает, — ответил он примерно с той интонацией, далекой от суеты и близкой к звёздам, с какой изрекают книжную мудрость, бережно сдувая с неё пыль веков. “Сиди на берегу, и труп твоего врага проплывёт мимо тебя” — что-нибудь в таком духе.

— А зачем думать, Лёха? — спросил я, улетаая редис. Люблю натуральный редис, который сегодня научились выращивать в городе.

— Смысл жизни искать, как положено.

Последнюю реплику он произнёс уже откуда-то сверху.

Телека у нас нет, интернета нет, только старенький радиоприёмник имеется, который, впрочем, исправно поставляет самые свежие новости. Что делать с досугом, если Бог предоставил столько времени?

Нашёл себя в творчестве. Вырезает фигурки из дерева. А дерево вымачивает в речной воде, и тогда оно открывает ему свою красоту, свою таинственную природу, свой характер. Никому не открывает, а ему открывает.

— А что за фигурки, Лёха?

— Леших. Братьев наших меньших.

— Ты хочешь сказать, что лешие — это наши братья?

— Нет, — тут он снисходительно *дал камышового кота*, то бишь, ухмыльнулся. — Как сказал Сергей Александрович Есенин, все звери — это наши братья меньшие. Вырезаю фигурки разного зверья.

— Например? — проявил я писательскую дотошность.

— Вот, лося недавно вырезал. Славный лось вышел, славный.

— Так, так. А почему — лося?

— Будь добр, Андрей, плесни ещё мне полстакана, — попросил Лёха, подставляя бокал, хотя до вина ему было тянуться ближе, нежели Андрею.

Андрей с готовностью и без лишних слов выполнил его просьбу.

Кто кому делал одолжение — осталось для меня загадкой.

Андрей, как я понимаю, угощал мной Лёху, а Лёхой — меня, писателя. Можно сказать — потчевал нас друг другом. А себя — забавной дуэлью чудаков, не умеющих зарабатывать деньги. Зачем это надо было ему, успешному и скрытному бизнесмену, было не очень понятно. Я смутно подозревал, что время от времени у него возникала настоятельная потребность в очередной раз доказать себе, что деньги — всему голова. Именно тогда он пригла-

шал меня в свой роскошный загородный дом, стоящий на берегу озера, мы с ним неспешно, от души парились в бане берёзовым и дубовым вениками, засиживались допоздна за столом, неизменно поражающим заморскими разносолами, играли в русский бильярд. Низкий свет, искрящийся в бокалах с коньяком, успокаивающий цвет бильярдного сукна, какой-то домашний стук шаров располагали к беседам о самом главном, и я с удовольствием делился своими мыслями и замыслами, которых у меня накапливалось в таком количестве, что я удивлялся сам себе. Если я успевал запомнить то, что говорил (прежде всего — формулировки, формулировки, выражения, порядок слов, порой — причудливый звукоряд), через пару дней из-под пера моего рождалось нечто достойное внимания.

Андрей не возражал, как правило, молча впитывая смысл моих острых замечаний и концепций. Глаза его живо блестели, и он покачивал головой, соглашаясь то ли со мной, то ли с собой.

При этом одну свою слабость Андрей даже и не пытался скрывать: он органически не умел проигрывать и не на шутку заводился, если я по рассеянности закатывал несколько шаров кряду в узкие лузы.

А я...

Искренность была моей не только первой, но и второй натурой, я наслаждался телесно и, отчасти, душевно, не забывая при этом называть вещи своими именами, от чего я получал главное удовлетворение в жизни.

Мы с Лёхой явно платили своим обществом за радушие хозяина, только Лёха всячески старался подчеркнуть свою независимость, что меня забавляло, а я — свою зависимость, что меня забавляло ещё более.

— Выйдешь ночью справиться нужду малую — а перед тобой лось стоит, ушами прядёт, ноздрями поводит. Потом наподдаст копытом, взроет землицу — и ускачет восвоеси, — изронил Лёха, покачивая перед лицом бокалом с остатками вина.

И замолчал, словно вспоминая эти волшебные ночи. Потом ни с того ни с сего добавил:

— Внучка недавно отмочила номер: в детсаду присела пописать на лужайке. Переполох, натурально, воспитатели не знают, как реагировать. Ребёнок ведёт себя как ребёнок, как дитя природы: это же неслыханно.

Милая зарисовка с натуры подается как притча, смысл которой недоступен непосвящённым.

— Хирург-травматолог хочет сказать, что именно поэтому вырезал фигурку лося, хозяина леса?

— У леса нет хозяев. Я хочу сказать, — быстро поправился он, — нет хозяев среди тех, кто живёт в лесу. У леса другой хозяин.

Интонация — с двойным дном, разумеется. Губы поджаты. Не шутим.

Мне вспомнилась история Андрея, который обожал авантурные путешествия. Однажды в зимней тайге, нет, кажется, в тундре, он наступил на спящего лося. Дело было так. Тёплая или, если кто не понял, сильно нетрезвая компания в несколько человек шла то гуськом, то шеренгой, перебираясь с кочки на кочку. И вдруг надёжный с виду буторок, на который бодро ступил Андрей, ожил, под человеком в мгновение ока вздыбилась гора — и в следующую секунду он летел уже в сторону, *голова-ноги-голова-ноги*, молясь и чертыхаясь от страха одновременно. Когда пришёл в себя, то увидел в заштрихованной снегом дымке огромную, на полгоризонта, резко очерченную фигуру лося, который удалялся с гордо поднятой головой куда-то в местные восвоеси. Где там, в тундре, эти заповедные восвоеси, бог весть.

На сердце у тёплой компании похолодело. Ведь запросто мог зашибить копытом властелин тундры, любитель ягеля. Отделались анекдотом, хотя были в шаге от трагедии.

Эта история про лося показалась мне интересней. Менее правдоподобной, но более правдивой.

— А однажды я отучил самого начальника милиции — начальник милиции в тех краях фигура ого-го! — курить у меня на участке. Да, да, очень просто. Он швырнул окурок, а я молча поднял его из травы и положил в банку. Начальник милиции посмотрел на меня вот так (здесь Лёха округ-

лил глаза, ещё более уподобившись коту) — и больше никогда при мне не бросал бычки на землю. Со мной с тех пор здороваются за руку.

— А начальник милиции зачем к тебе приезжал? Нога заболела? Или ухо? — пытался догадаться я.

— Не, — камышово улыбаясь, ответил Лёха. — Не угадал. Рука. Начальник милиции перепутал дымовую шашку с динамитом, сунул её в нору, чтобы крота выкурить у себя на участке — вот такой дом, на берегу озера стоит, и в результате ему, начальнику, а не кроту, чуть руку не оторвало, а глаза землёй засыпало. Его привезли ко мне, он ничего не видит. Помогите, говорит, гражданин хирург, век помнить буду. Я помог. Клятву Гиппократа никто не отменял.

— А откуда он знает, что ты врач?

— А там все знают. Приносят мне продукты, я и лечу местных жителей.

— Ты не хирург-травматолог, ты практически доктор Айболит, — сказал я. — Если у тебя есть внучка, стало быть, у тебя и жена была. Или есть?

— Есть. Она живёт в Минске.

— В центре города?

— В центре, — улыбнулся Лёха.

— Скучно это всё, — внезапно сказал Андрей.

— Что скучно? — расслабленно парировал Лёха.

— Да всё. Жизнь — скучна.

Я внутренне принял позу “ушки на макушке”. Вот он, момент истины. Бизнесмена, кажется, разобрало. Сейчас и мне перепадёт, не сомневаюсь. Что ж, за удовольствия надо платить. Андрей, видимо, давно включил вот этот свой *предполагаемый*, если что, натуральный порыв в счёт для посетителей своей загородной резиденции. Кто платит, тот и позволяет себе резать правду-матку в глаза.

— Мне кажется, вы скрываете от себя единственную страсть, которая украшает человека, — зарабатывать деньги. Причина банальна, если что. Вы не способны это делать. Это не дауншифтинг, хирург-травматолог, это аутсайдерство. В чистом виде. Если кто не понял.

Здесь Лёха улыбнулся уже не как кот, не интимно, а — лучезарно, глобальной улыбкой всепрощения, будто Будда, снисходительно щурясь на грешную суть людей.

— Ты ошибаешься; тебя город испортил. Потребление тебя в бараний рог скрутило.

— Лёха, ты же как крот живёшь. Не как Диоген, а как крот. Вот чем ты отменился на земле? Тем, что ослепшего начальника милиции отучил бычки в грязь бросать? Внучку научил сикать на травку-муравку? Лучше бы обучил её искусству руки мыть после этого. Лёха, не зли меня.

— А ты полагаешь, что быть писателем почётнее? — Лёха неожиданно перевёл стрелки на меня. — Пишут, пишут — и что? Изменилось что-нибудь на земле? Поэтому Лев Толстой бросил писать и стал проще.

Я искренне замолчал. Не потому что мне нечем было крыть, а потому что мне интересно было узнать, что они скажут дальше. “Они”: я не сомневался, что у них между собой больше точек соприкосновения, нежели у меня с каждым из них. Я уже мысленно объединил их в силу, мне противостоящую.

— С писателем сложнее, — задумчиво произнёс Андрей. — А может, проще. Пока не разобрал.

Я молчал.

— Я бы давным-давно помог писателю, если бы захотел. Он не просит, ладно, гордость, понимаем. Но я бы сам предложил помощь, если бы почувствовал, что искусство выше бизнеса. Но чем оно выше? Тем, что непонятнее? Тем, что это особого рода кайф для посвящённых? “Много званных, да мало избранных”. Я больше всего ненавижу избранных. Кто их избирал? Зачем? С какой целью?

Странно: он говорил в мой адрес, но при этом не смотрел на меня, тем самым признавая, что некоторым образом предаёт меня; хорошо, не предаёт, — но как минимум ставит в неловкое положение. Я не напрашивался, меня, если что, звали как избранного. Чтобы теперь вот объявить мне, что я не избранный. Меня обманывали, не я обманывал; со мной лукавили, не я лукавил.

Я молчал, что Андрея, очевидно, стало раздражать. Он вёл себя так, будто проигрывал в бильярд.

— Ты написал много прекрасных книг, Н. Волнующих. Заставляющих размышлять. Хорошо. Если бы твои книги стали издаваться сумасшедшими тиражами, это был бы неплохой бизнес. Если они не издаются, значит, они никому не нужны. А я очень ждал, когда к тебе придёт успех. Откровенно говоря, я удивлен, что ты не востребован на рынке. Другие востребованы, ты — нет. Значит, ты не угадал? Я бы очень хотел посмотреть, как бы ты повёл себя, когда бы разбогател.

— Я бы тоже, — искренне ответил я.

Лёха сузил линию рта, отчего стал казаться не строгим судьей, но злобным хорьком. Самым небольшим из наименьших братьев.

— Зачем нужны книги, если их никто не читает? А? — бизнесмен подвёл черту, которая плавно превратилась в знак вопроса.

Андрей и Лёха в упор смотрели на меня. Вопрос стал обретать очертания крюка, на который я был уже виртуально подвешен.

— Ни зачем, — ответил я. — Не берите в голову. Я не угадал.

— Нет, нет, так не пойдёт. Гордыню в сторону. Давай, говори всю правду, — сказал Андрей и поднял на меня по-деловому честные глаза.

Лёха молча налил сам себе бокал до краёв.

— Я писал свои романы из презрения к таким, как вы, — сказал я и отодвинул от себя дорогую тарелку со сладкой чужой пищей, будто мне подсунули отраву.

Лёха выпил бокал залпом. Андрей и ухом не повел.

— Я это знаю, — сказал он. — Я не понимаю другого: зачем ты это делаешь?

— Я пишу свои романы из сочувствия к вам; вам некуда деваться, вы поменяетесь, если захотите жить. Вот тогда скажете мне спасибо за мои романы.

Лёха фыркнул, как лось, заставший человека за справлением малой нужды.

— Только хозяину леса об этом, пожалуйста, ни слова, — продолжил я. — Расстроится. Я ничего не произвожу; точнее, я создаю то, что не пользуется спросом. Пока не пользуется. И пока я ем ваш хлеб. В благодарность за это я хоть как-то задумываюсь о вашем будущем. Кто-то должен за деревьями видеть лес.

Андрей напрягся. Никогда я не видел его таким серьёзным и хмурым.

— Не знаю, — наконец, сказал он. — В этом что-то есть. Но меня это не убеждает.

— Что мешает тебе перестать общаться со мной? Это ведь ты меня зовёшь к себе; я тебя к себе не зову.

— Не знаю. Без тебя скучно. Но ты не решаешь моих проблем. Перца в жизни всё равно не хватает. Кстати, в следующий раз я обыграю тебя под ноль. Через неделю. Слышь, олень, — обратился он к Лёхе, — давай русалок пригласим.

— Жену, что ли? — округлил глаза хирург-травматолог.

— Тёлок, — уточнил я: тяга называть вещи своими именами обострилась во мне чрезвычайно.

Следующее его мимическое послание, вытравленное на лице, можно было понимать так: что позволяют себе эти разнузданные писаки, Господь Всемогущий! И как их только земля носит!

Однако отказываться от предложения Андрея он и не подумал. Может, просто забыл.

А вот я отказался — по совершенно прозаической причине, внешне никак не связанной с чистотой морального облика *осмелившегося писать* человека.

— Мне пора. Моя последняя и горячо любимая жена беременна. Скоро у меня будет дочка, девочка, — сказал я. — По-моему, это наиболее приемлемая форма дауншифтинга сегодня.

— Предлагаю за это выпить, — сказал Андрей. — Неужели в тебе запас прочности больше, чем во мне?

“Пусть это будут твои проблемы”, — с наслаждением, несколько унижающим мыслящего человека, подумал я. Сказал я при этом то, что хотел давно сказать:

— А твои фигурки, Лёха... Ну, творчество. Спросом пользуется?

— Отрывают с руками.

— А как называется деревня, возле которой находится твой хутор, Лёха?

— Лукоморье.

Я ждал улыбки кота, но в грустных глазах лешего прочитал: “Не дождёшься...”

МЕДВЕДЬ

РАССКАЗ

— Я целый день ждала этого часа!

Чем ты занимался?

— Не знаю... Мне был сон...

I

Меня разбудили трели мобильного телефона. Мелодия “колокольчики по-над лугом” — легчайшие россыпи звоночков, — обычно умиротворяющая и ниспосылающая спокойствие, на сей раз врезалась в мой сон назойливым диссонансом.

Звонил мой друг Жан Неприятных, чтобы поздравить меня с днём рождения.

— Желаю тебе душевной гармонии, слышишь? Всё остальное у тебя есть, Мишель. А вот душевной гармонии нет. И я тебе желаю обрести, наконец, душевную гармонию. Тогда весь свет заиграет новыми красками, вот увидишь...

— Спасибо, спасибо, Жан Петрович, милейший... Обрету. Который час?

— Уже утро в разгаре, прекрасное начало дня. Проснись и пой. В 51 жизнь только начинается.

Я глянул в окно. Небо было затянуто светло-серым слоем облаков. Никаких новых красок я пока не увидел. И с чего этот идиот Жан решил, что у меня проблемы с гармонией? Я спокоен, мне на всё наплевать. Разве это не гармония? Стоило будить человека, чтобы пожелать ему чёрт знает что.

На часах восемь. Восемь ноль-ноль. Не идиот? Я о Жане, естественно. В отношениях с самим собой, повторяю, у меня полный порядок. Не вижу причин называть себя идиотом.

Я лёг на спину, сложил руки на животе, закрыл глаза и попытался вспомнить свой сон. По опыту знал, что это безнадежно, но сон имел удивительно прямое отношение то ли к моему дню рождения, то ли к гармонии. Так хотелось ухватиться хоть за обрывки сна...

Конечно, сон я не восстановил. Мне уже начинало сниться сон по поводу утраченности сна, как вдруг легко и просто продолжилось то, что было бесцеремонно прервано Жаном. Это был именно тот самый сон, несомненно; при этом вызывали удивление два обстоятельства: 1) как я мог его забыть и 2) сочетание простоты и тайной многозначности сна.

В общем и целом сонные грёзы растрожили меня.

Я иду по лесу и собираю грибы. Поют птицы. Зачем мне грибы?

Дело в том, что с недавнего времени в отношении грибов, как и в отношении многого другого, у меня наметился крутой поворот. Я бы сказал, изменились принципы. Я всегда считал, что люблю грибы — и, соответственно,

обожаю эту самую тихую охоту и эту тяжёлую пищу. Ну, вот как можно не любить грибы? Их любят все. Как цветы. Как деньги. Как муж — жену.

Оказалось, что я не люблю их не только есть, но и собирать.

А это плохой род чудачества. Неуважение к собирательству и грибопоеданию отдаёт вызовом. Это скрытое покушение на традиции, на уклад жизни предков, свичай и обычаи; это коварный удар по корневищам, по вековой грибнице, которая воспроизводила сюрпризы предсказуемо и обильно.

За малым — едва ли не преступление против человечности.

И вот я собираю грибы и чувствую, что делаю это через силу. Я шучу, смотрю по сторонам — и понимаю, что притворяюсь не только перед всеми, но и перед самим собой. Я делаю вовсе не то, что мне хочется. Мне это ясно безо всяких доказательств.

Признание этого маленького фактика становится настоящим потрясением в масштабах моей личности. Оказывается, можно жить по-другому; можно делать то, что тебе нравится, и получать от этого удовольствие.

Я (пока ещё в мыслях) отважился на рискованный, но такой необходимый мне шаг. И на душе становится вдруг весело и уютковато. Я знаю, что брошу сейчас лукошко (не ведро пластмассовое, недорогое и любимое снаряжение грибников, а именно плетёное лукошко, прямо из сказки, которое я видел однажды... не припомню, где, я его несомненно видел, и оно перевернётся и застрянет в траве, затеряется в подсохших листьях) и пойду куда глаза глядят.

Странное дело я задумал, но на меня нисходит ощущение гармонии.

К тому же меня приободрили птицы, они запели всё громче и громче — и...

...И в этот момент вновь залепетали беззаботные колокольчики. Но голос, которые они накликали, оказался хриплым и самоуверенным.

— Да, не слабо ты нагрешил в жизни. Посмотри, какая непогода: мерзость конкретная. Лучше не придумашь, а хуже не бывает. Ладно, перехожу к существу дела. Желаю тебе воли, всё остальное у тебя есть. Вот увидишь, свет заиграет новыми красками...

Действительно, к полудню облака потучнели, сыпанул холодный дождь, смешанный с крушинами льда. Откуда-то налетел пронизывающий насквозь ветрище (знаю я этот апрельский деликатес, сочетание прелести с беспросветностью).

Звонил некто Петров-Заторов, так себе поэт, но гигантский спец в области смысловых оттенков. Просто редкостный дар составлять нечто двусмысленное из полутонов. Последний его сборник стихов называется “Besto-вестная правда”. Вот ведь гад мелкопакостный. Знает, что я внимательно отношусь к словам, поэтому стану вникать и маяться. И выбрал же не свободу, не счастье, не благополучие, не личную жизнь — да мало ли какие ещё чудные слова можно подобрать ко дню рождения приятеля. Волю нам подавай. Наверняка ведь всё продумал. Зачем мне воля, спрашивается?

Воля, на мой вкус, категория сомнительная. Не отрицательная, не положительная, не какая-либо ещё однозначная — именно сомнительная, ускользающая от определений, хотя каждому понятная. Ещё Пушкин наворожил: “на свете счастья нет, но есть покой и воля”. А потом взял и с тонким умыслом продолжил: “я думал, вольность и покой замена счастью... Боже мой! Как я ошибся, как наказан!”

Вот что это за наследство? Как это всё прикажете понимать?

Если счастья нет, тогда воля бесценна, ибо это единственное, что остаётся неприкаянно путнику, собирателю грибов. Но если счастье есть, воля в мгновение ока превращается в эрзац. Воля — это счастье второго сорта.

Зачем мне воля, Петров-Заторов? Ты хотел сказать, что я чем-то закрепощён, и эта самая неволя невольно сказывается в моём свободном творчестве? На самом замысле моих романов?

А может, он имел в виду силу воли? Намекнул, что я слабак?

У меня её хоть отбавляй, всякой воли, я не испытываю дефицита воли. Уж чего-чего, а воли... Наплевать мне на волю.

В каждом пожелании, как в табакерке, таится какой-то неучтённый чёртик. Все как сговорились: я не могу отделаться от ощущения, что их громко озвученные пожелания в мой адрес — это тихие послания самим себе. Их

чистые и искренние пожелания я рассматриваю как способ самоутвердиться, а мой день рождения — как лучший в мире повод насолить мне своими сладчайшими словами.

Но почему ваши проблемы решаются именно за мой счёт, господа?

Далеко не к каждому новорождённому хочется обратиться, душевно пожелать добра, вот так сокровенно вложиться в пожелание и раскрыться в этом душевном жесте до исподнего. Когда вы последний раз поздравляли с днём рождения своих ближних? Не удивлюсь, если это ваше первое в текущем году поздравление.

Почему вы избрали мишенью меня?

Скажи мне, чего ты мне желаешь, и я скажу, почему ты пожелал мне именно это... Нет?

По этому поводу что-то было в моем вещем сне. Да, было. Как-то подозрительно вяжется сон с явью. Не к добру. Почему сразу не к добру?

Нет, первое слово дороже второго. Не к добру. Обманывать себя бесполезно.

Навстречу мне выходит медведь и подозрительно косится на брошенное лукошко. Неодобрительно крутит большой башкой. От полутонной глыбы — запах, панически пугающий густой запах зверя. Этот запах по древности своей сопоставим с запахом грибов, в нём столько же первородной информации для инстинктов. Только грибы пахнут жильём, защитой, даже уютом, а от медведя тянет жизнью и смертью одновременно. Запах грибов действует “по шерсти”, а свежая медвежья вонь — “против шерсти”.

— Ты заблудился? — спрашивает медведь.

Меня не столько удивляет, что он может говорить, этот персонаж, которого сознание моё иронически воспринимает на фоне баек про Машу и медведя, сколько возмущает его версия относительно моего “блуждания”.

— Почему сразу заблудился в трёх соснах? — возражаю я, и чувствую, что ирония моя никак не относится к запаху. Ядрёный запах — это не смешно. Он изгоняет меня с чужой территории, на которую я заступил неумышленно.

Медведь вновь крутит головой, забавно, как в цирке, и тяжело дышит. Не сомневаюсь, что дыхание его гнилостно и смрадно.

— Ну, что ж, коли ты не отбился от людей, коли ты знаешь, куда путь держишь — иди, я тебе не указ. Перечить не стану. Только позволь пожелать тебе, странник...

Птицы вновь залились самозабвенно — я поднял голову вверх и...

Очнулся от очередного звонка.

— ...желаю тебе удачи, которая, словно солнышко, выглянет и приятно удивит. Ты вдруг увидишь всё в новом свете. Удачи. Всё остальное у тебя есть, — мило закруглила Лариса Борисовна свой краткий подготовленный экспромт. Она строит мне глазки и ненавязчиво попадает на глаза по сто раз на день.

Они что, стоворились? Теперь я еще и неудачник?

Я подошёл к окну. Надо мной зияла беззащитная бледно-голубая рана с рваными пушисто-белыми краями. Солнце, ломанувшись в брешь, пригревало жарко, чуть заметный ветерок приятно охлаждал лицо.

Что же пожелал мне медведь?

Мой день рождения, кажется, был вчистую испорчен глухим бурчанием этого бурого увальня. “Только позволь пожелать тебе...” Я ведь застыл, буквально околел после этих слов, от которых словно исходил запах дикого зверя — запах смертельной опасности. Предчувствуя лесную дремучую правду, я раздул ноздри и задрал голову вверх, якобы выражая недовольство птичьим гомоном, таким громким, что он походил на лай; ведь он помешал мне слышать главное...

Потом я опустил голову и уставился на еловые иголки. Что потом?

Правильно: медведя уже не было. Он исчез. Причем исчез не вызывающе, не как заяц в котелке фокусника, а как-то незаметно и убедительно: именно так бесшумно должна была раствориться в метре от тебя полутонная машина. Чтобы затаиться. Он исчез, чтобы быть. В этом я ощутил лесную правду. Потом...

Потом я улыбнулся: весь этот спектакль во сне был затеян ради одной фразы, содержание которой я старательно прятал от самого себя.

Медведь — это что же, тёмная сторона меня самого?

Чушь какая-то несусветная.

Хорошо. Не станем отвлекаться. “Только позволь пожелать тебе...”

Позволь пожелать... позволь пожелать...

Всем существом я ждал телефонного звонка. Но меня плотным кольцом окружало назойливое безмолвие.

Тут я вспомнил о целом ряде совершенно неотложных дел. Как я вообще мог про них забыть! Мне позарез надо было:

забежать на работу,
одолжить денег другу,
пересечься с сыном,
позвонить отцу,
заскочить в магазин,
сделать уборку,
приготовить ужин.
Что ещё?

А ведь что-то ещё. Ради чего такая спешка?

Не дав себе времени на раздумья, я закрутился в водовороте дел.

II

К вечеру потеплело, тучи рассеялись. День выдался всепогодным, передо мной времена года предстали во всей красе почти одновременно. Погода оказалась неустойчивой, как сама жизнь.

Я последовательно выполнил все намеченные дела. Сбой произошёл только в двух случаях: 1) отец сам позвонил мне и не забыл поздравить с днём рождения (что я расценил как сюрприз, практически удачу) и 2) сын мой, Димка, не встретился со мной.

В остальном я мог быть вполне доволен собой. Особенно мне удался пункт второй: я дал в долг денег гораздо больше, чем ожидал от самого себя.

Теперь я возвращался домой из магазина: это был повторный поход (выяснилось, что в доме нет перца). Можно было, конечно, не ходить, обойтись без перца. Перец — это мелочь. Но мне показалось это важной мелочью. “В конце концов, всё состоит из мелочей”, — убеждал в чём-то я сам себя.

Возможно, мне просто не сиделось дома. Вот я и вспомнил о перце, который тут же превратился в самое неотложное в мире дело.

Возможно, поэтому я брёл домой и время от времени юрко оглядывался, как человек, которого терзает какое-то сомнительное намерение. Который бежит от запаха медведя. И при этом не торопится.

Полная луна нависла неммым вопросом. Она вопрошала недвусмысленно и веско.

Только вот о чём?

Дома меня приятно удивил готовый к приёму гостей стол. Я сервировал всё так быстро, что только теперь оценил аккуратность и продуманность сервировки. Оказалось, что стол накрыт на три персоны. В центре стола — большой букет желтоватых роз. Почему на три?

Стоило мне внятно задать этот вопрос самому себе, как я начинал нервничать. Оказалось, что накрыть стол на три персоны гораздо проще, нежели объяснить себе, зачем ты это сделал.

В этот момент раздался звонок в дверь.

Я, опять же, не раздумывая (что я отменно научился делать в последнее время, так это не давать себе времени на раздумья), двинулся к двери, дважды обойдя стол, чтобы удлинить время — чтобы гости не подумали, что я очень кого-то жду.

Открыв дверь, я обрадовался и огорчился до умопомрачения. Это был не сын; это была Маша (от её имени веяло теплотой и уютом; стоило произнести “Маша!” — и сразу становилось теплее, я проверял).

Вот уверен: если бы это был сын, я бы точно так же обрадовался и огорчился до умопомрачения.

Она вручила мне букет по-осеннему бодрых хризантем, которые так нравились мне, и, оценив мою кисло-сладкую мину, пытавшуюся выглядеть свежей сдобой, спросила, оглядывая стол:

— Ты ожидаешь, что Дима забежит? Значит, он так и не позвонил тебе?

Все мы думаем, что нас не раскусить, тогда как на самом деле представляем собой открытую книгу. Особенно во дни ужасных потрясений. Человек, который терпит в жизни катастрофу, уподобляется затрёпанной открытой книге. Счастливого человека разгадать куда сложнее: ему легче прикинуться несчастным, чем несчастному — счастливым.

— Пожелай мне что-нибудь, — попросил я.

— Я желаю тебе любви, — сказала Маша уверенно.

В её положении это было непросто: её слова относились не ко мне, а к нам. По крайней мере, у меня были основания так думать. Но она справилась легко.

Эти слова принесли мне запах дикого зверя, который смешался с терпким ароматом хризантем. Вот она, лесная сила и тайна.

— И тогда весь свет заиграет новыми красками? — уточнил я.

— Тогда ты обретёшь счастье и гармонию.

— Ключевое слово для этих райских врат — любовь?

— Без неё все слова становятся пустыми.

— Вина хочешь? — спросил я без всякого перехода. Наверное, для того, чтобы лишиться себя секунд на размышление. — Твоё любимое: грузинское полусладкое.

— Хочу. Давай поговорим. Я целый день ждала этого часа! Чем ты занимался?

— Не знаю... Мне был сон...

Я неловко замялся, представляя, какие долгие разъяснения понадобятся, если она, как всякий нормальный человек, удивится и спросит про сон. А врать не хотелось, не хотелось говорить, что не было никакого сна.

Но она сказала, внимательно посмотрев на меня (при этом не подала меня расширенным тёмными зрачками, проявляя грубое любопытство, а поглаживала светло-серыми глазами, успокаивая):

— Сон — это серьёзно. У меня тоже так бывает. А что мы будем есть?

— Салат. Холодный цыпленок. Шпроты. Ещё есть фрукты и орехи. Чай с пирожными.

— Это не ужин; это пир горой. Понимаю, что я напросилась, но я несколько об этом не жалею. Как говорится, и я там была... Кто подарил тебе такие розы?

Именно такие цветы обожала Маша. Бутоны свежие, не крупные, с чуть заметной зеленцой по краям лепестков. В них есть что-то от Машинной сути: беззащитные, но с бронебойными шипами.

— Это мой подарок тебе. В честь моего дня рождения.

— Спасибо. Ты очень внимателен. Тебе звонил Жан Петрович?

— ЖЭПэ? Звонил. Представляешь, пожелал мне душевной гармонии. Ну, не змей? Дескать, нет у тебя душевной гармонии, нет, и этого не скроешь.

— Почему сразу ЖЭПэ? Ты не прав. Он позвонил тебе, вот что главное; мог бы не позвонить — но ведь он же позвонил! И он не обижал тебя, а пожелал добра. Сделал тебе приятное. А то, что на мозольку тебе наступил... Так ведь ты сейчас весь в мозолях. И не ищи в моих словах подвоха. И не в чьих словах не ищи другого дна.

Я недавно развёлся. Сын отвернулся от меня. Отец надулся. Жена объявила меня выродком, исчадием ада и бессовестным луноном.

Только сейчас, вечером в день моего рождения, я понял, наконец, почему я развёлся. Я не люблю собирать грибы. Я не люблю врать. Я не ценю покой и волю. Мне скучно и неинтересно жить без любви.

И, наконец, понял самое главное: 1) любовь есть и 2) я давно уже люблю Машу. Как я ошибся, как я счастлив, да, да. Я ценю покой и волю, если они не заменяют, а дополняют любовь.

Вот почему я развёлся. Чтобы обрести гармонию.

— Дай-ка мне телефончик, пожалуйста, — попросил я Машу.

Она молча передала мне трубку.

Я молча набрал номер телефона.

— Господин Неприятных? Спешу сообщить тебе преприятное известие. Я не ёрничаю. Говорю же тебе, приятное известие.

Маша корчилась на диване от смеха.

— Я уже обрел душевную гармонию. Не далее, как сегодня вечером. Почему “так быстро”? Пятьдесят один год, по-твоему, это не срок? Да плюс ещё предки мои пережили ради меня сотни тысяч лет. И вот результат: счастливый человек звонит другу. Ты, Жан, просто шаман. В смысле, шайтан. Как ты угадал, что гармония — самое уязвимое моё место? Я очень тебе благодарен, Неприятных.

— Не называй меня по фамилии, — сказал Жан (так и вижу, как он поджигает свои вишнёвые губы бонвивана, поигрывая бровями). — Мне становится не по себе. Ты же знаешь, это моя ахиллесова пята.

— Желаю тебе сменить фамилию, — сказал я.

— Спасибо, — ответил Жан. — Не дождётесь. Моя фамилия — это единственное, что отпугивает от меня женщин. Кстати, за деньги ещё раз спасибо. Кажется, ты спас моё реноме богатого холостяка. Моя душевная гармония и пошлый брак — несовместимы.

— Ты меня пугаешь. Ты отказываешься верить в любовь, Жан?

— Увы, — ответил Жан. — Я пожил на свете не меньше твоего. У меня тоже, если ты заметил, есть глаза, уши и голова. И я, в отличие от некоторых, делаю правильные выводы из того, что вижу и слышу.

— Тогда я желаю тебе любви. От души.

— Ты намекаешь на то, что у меня проблемы с любовью? Более подлого пожелания не получал в своей жизни.

Было похоже на то, что мы шутили. Пошутили и пожелали друг другу спокойной ночи и приятных сновидений.

— Особенно повару удалось шпроты, — сказала Маша. У неё тоже с чувством юмора было всё в порядке.

— Пустяки, — сказал я. — Главное, когда коптишь, не пересолить. А то весь улов придётся скормить морским котикам.

Правда была в том, что ей больше всего на свете нравились шпроты.

И грибы. Я приготовил их собственноручно и намеревался предложить их завтра. Такой вот сюрприз.

— У Жана серьёзно заболела мать, — сказал я. — Предстоит операция. Я одолжил ему денег.

Мы помолчали.

— Я пришла к тебе без подарка...

— Мне это понравилось больше всего: я так понял, что ты не собираешься мне навязываться.

— Тут ты угадал. Но это вовсе не означает, что я не собираюсь оставаться у тебя на ночь... Если мне предложат, конечно.

Мне снился летний лес. Живая тишина. Вдруг встревоженно загалдели птицы, и когда в шаге от меня бесшумно возникает медведь, я к этому готов. Я иду, почти не оглядываясь, бесстрашно подставляя спину, и он идёт за мной. Идёт и молчит. Оскал на его кувшинном рыле завершается ехидно-хищной линией — подобием ухмылки. Нос мокрый. Глаза чёрные. Для меня главное, чтобы он не догадался, что я иду к Маше. Дышит, дышит, потом что-то тихо гудит низким голосом, шипя и присвистывая...

— Ты сказал “это святое”?

Я резко обернулся: он уже исчез.

— Что святое? Семья? Маша? Миша? Что ты сказал? — кричу я со снам.

Шумит лес, заглушая дыхание зверя. Медведь знает, что я уверен: он где-то рядом.

Затаился.

Птицы продолжают галдеть: они явно на моей стороне.

Я открываю глаза. Утро в разгаре: вот почему так орут птицы.

Маша их не слышит. Она спит.

Интересно, что снится ей?